

# СОЦРЕАЛИЗМ И МИР ДЕТСТВА

Евгений Добренко

Проблема инфантильности соцреалистической культуры интересует нас здесь не только в том значении, какое мы находим в первом издании Большой Советской Энциклопедии («сохранение взрослым детского характера развития как в физическом, так и психическом отношении, обусловленное остановкой развития на ранней ступени или задержкой его в известном периоде жизни (субэволюционизм)»), но и в том, какое мы находим в «Словаре русского языка» С. Ожегова, этом «Лексиконе», зафиксировавшем язык интересующей нас эпохи, где нейтральное «субэволюционизм» определяется уже как «отсталость развития», а самое интересующее нас понятие определяется с пометкой «*книжн.*» Вот это «книжн.» «отсталость развития» и представляет интерес как важная характеристика ментальности соцреалистической культуры. Речь пойдет о некоторых не сформулированных явно, не высказанных эксплицитно, а часто и не вполне осознанных в культуре умственных установках, общих ориентациях и «привычках сознания», характерных для соцреализма. Прежде всего для нас интересны здесь такие аспекты содержания понятия «инфантилизм», как представления о ребенке и мире детства, к которым апеллировал соцреализм; идеал, к которому стремилась власть; технология, которая использовалась для достижения этого идеала.

Соцреализм направлен на мобилизацию эмоциональной энергии масс, его политическая мифология сугубо функциональна: путем упорядочения картины мира она организует в соответствующем направлении деятельность людей. Она, таким образом, *целенаправлена*. Отсюда — телеологизм в понимании развития: история движется в направлении к определенной цели — к светлому будущему, а этапы этого развития — «первая фаза коммунизма», «развитой социализм» и т. д. Это, как показал в своих работах о детской психологии еще в начале 1930-х годов Л. Выготский, соответствует самоидентификации ребенка, который также всегда стремится к взрослости («когда я вырасту...», «когда я стану большим...»), в которой ему видится тот же скачок «из царства необходимости в царство свободы», независимость от взрослых, но, заметим, никогда не большая ответственность.

Но политическая мифология не может функционировать *вне* массового сознания — она выстраивается интуитивно в определенном социуме и в этом смысле выступает как коллективное бессознательное массы, видящей в мифе обоснование справедливости своих устремлений, желаний, ненависти и т. д. Политическая мифология должна быть понятной и близкой массе. Вряд ли поэтому верно утверждение Б. Гройса о том, что соцреализм был чужд «настоящим вкусам масс», но был навязан Сталиным, тогда как вместо соцреалистической доктрины могла быть внедрена и принята с тем же энтузиазмом фонетическая заумная поэзия в духе Хлебникова и Крученых или живопись в духе «Черного квадрата» Малевича<sup>1</sup>: политические мифы лишь *формулируются* вне массы, но *не живут* вне ее; социальный вакуум губителен для политического мифа. В этом смысле можно согласиться с мыслью Э. Надточия о том, что письмо соцреализма устроено как «машина кодирования потока желаний массы»<sup>2</sup>. А к этим желаниям можно отнести и желание массы приобрести сверхплотность («еще теснее сплотимся вокруг...»), и желание растворить индивидуальные конфигурации тел в тотальном равенстве

элементов единого сверхтела («Я счастлив, что я этой силы частица, что общие даже слезы из глаз» — у Маяковского, «Хочу позабыть свое имя и звание — на номер, на литер, на кличку сменить» — у Луговского), и ее желание расти, вечно повторяясь в каждой новой единице («связь поколений»), и ее желание остановить время, и ее упоение собственной неповторимостью («я другой такой страны не знаю...») и несокрушимостью («нам нет преград ни в море, ни на суше...»). Эта феноменология сознания массы продуцирует соответствующий тип политической мифологии, упрощенной до бинарных противопоставлений: свой — враг, патриот — отщепенец, хаос — порядок, разрушение — созидание, родина — чужбина и т. д. Прямая взаимосвязь между голосом власти и голосом массы чрезвычайно характерна и для организации детского социума, для которого также свойственна управляемость первичного порядка: это коллектив более биологический, чем социальный, коллектив-стая, где есть вожак («вожатый»), враг и где главное занятие — гон и травля.

Тоталитарные культуры рождаются как реакция доперсоналистических архетипов сознания, первобытно-коммунистических его форм на постоянный процесс развития и усиления личностного начала, требующий «сплошь ответственной личности» (М. Бахтин). Любая форма тоталитарной культуры рождается как феномен коммунальности-коллективности в классовом или национальном изводе.

Коммунальность и коллективность — главное требование тоталитарной культуры, обращенное не только к миру взрослых, но и к миру детства: это рудименты детства в досоциальной взрослости. Вот как рассуждала на этот счет Н. Крупская, один из основоположников советской педагогики: «Юные пионеры стремятся воспитать в своих членах коллективистические инстинкты, потребность разделять и радость и горе с коллективом, привычку не отделять своих интересов от коллектива, мыслить себя как члена коллектива, воспитывать в своих членах коллективистические навыки, т. е. умение работать и действовать коллективно, организованно, подчиняя свою волю коллективу, проводя свою инициативу через коллектив, завоевывая мнение коллектива, и, наконец, воспитывать коммунистическое сознание ребят...»<sup>3</sup>. «Международная детская неделя, — писала Крупская, — прежде всего должна дать детям много радостных переживаний. Хоровое пение, игры, купанье, экскурсии в природу, поэзия рассказов у костра, посещение фабрик, участие в пролетарских праздниках — все это оставит неизгладимое впечатление на всю жизнь, свяжет эти переживания с представлением об организации, о коллективе. Участие в пролетарских праздниках, посещение рабочего клуба, фабрики, рабочего собрания протягивает крепкие нити между ребятами и рабочим классом, и нити эти надо всячески укреплять. Женотделы, партийчейки, профсоюзы должны брать шефство над юными пионерами и делать, что могут, для укрепления в ребятах духа классовой солидарности»<sup>4</sup>. Все эти пожелания совершенно адекватны потребностям детского коллектива, но подобные «радостные переживания» в виде коллективных празднеств дает соцреалистическая культура и взрослому человеку.

Соцреализм, будучи языком власти и массы, не создает своих художественных кодов, но использует уже наработанные культурой, внутренне их перестраивая — как замечает С. Зимовец, «из множества социокультурных кодов выбираются наиболее устойчивые, суггестивно наработанные, наиболее действенные и “физиологически” простые, ближе всего стоящие к бессознательному опыту массы, врожденные ей как способы ее автоматического бытия»<sup>5</sup>. Точно так же эта культура не насилует и ребенка, но берет то, что лежит на поверхности его досоциального поведения.

Самым верхним пластом является героическая парадигма тоталитарного искусства<sup>6</sup>. Перед нами искусство, отвечающее на вопросы «что такое хорошо и что такое плохо», «учебник жизни», состоящий из задач на одно и то же действие — «сделать бы жизнь с кого?» Соцреализм — это машина-конвейер по производству

героев — образцов для подражания, обращенных к «юноше, обдумывающему житье». Нет нужды подробно говорить о героях соцреалистической литературы — об их чудесных способностях, вечной молодости и бессмертии. Об этом достаточно подробно говорится, например, в книге «Советский роман: История как ритуал» К. Кларк, основанной на использовании методики В. Проппа при анализе морфологии и исторических корней волшебной сказки. Самое обращение соцреализма к сказке, несомненно, культурно значимо. Сказка апеллирует к *детству человечества* и потребность в ней — как бы генетически — возникает в *детстве каждого человека*. Связано это с тем, что в сказке заложен и реализован сюжет инициации — превращение ребенка во взрослого человека, вхождения его во взрослый мир через испытания, смертельные опасности, временную смерть и, наконец, новое рождение. Главное чудо соцреализма состоит в том, что через испытания его герой из мира детства возвращается... в мир детства, увлекая за собою читателя. Это замкнутый цикл превращений.

Ленинский тезис о том, что партия концентрирует в себе «ум, честь и совесть» и передает их массе, реализуется в архетипической культурной модели героя и толпы: благодаря Левинсону Морозко превращается в сознательного бойца; благодаря Кожуху толпа превращается в «железный поток» революции; благодаря комиссару Клычкову Чапаев избавляется от партизанщины и «несознательности»; благодаря воспитателю Макаренко вчерашние уголовники превращаются в прекрасных людей, раскрывая лучшие человеческие качества в созидательном труде; благодаря «старшим товарищам» Корчагин становится образцом служения идее; благодаря комиссару Воробьеву Мересьев преодолевает инвалидность и душевные сомнения и совершает невиданный подвиг; благодаря партийной сознательности коммунистов люди поверили в колхозы и «поднимается целина»... Нарушение этой модели практически невозможно, о чем свидетельствует «партийная критика» «Молодой гвардии», в результате которой даже классик соцреализма вынужден был «вписать» в свой роман «партийное руководство» молодогвардейцами.

«Простой человек», получив заряд сознательности, не только готов к совершению подвигов, но и должен этот заряд передать остальной массе, — перевоспитавшись, воспитать других. Этот перманентный воспитательный процесс заложен в структуру соцреалистического текста: и вот уже сами колонисты из «Педагогической поэмы» начинают воспитывать своих несознательных товарищей; Кондрат Майданников, перевоспитавшись, вступает в партию и, таким образом, становится воспитателем; молодогвардейцы сами начинают вести воспитательную работу в своих рядах... Но главное — этот воспитательный процесс не замыкается в тексте, но «выходит в жизнь», к читателю: перевоспитавшись под влиянием протагониста партии, герой сам становится образцом для подражания. В тексте разыгрывается модель жизни как бесконечного процесса воспитания-жизнестроения.

В какое новое социально-культурное пространство прорывается соцреалистический герой в результате всех испытаний-превращений? В пространство коллектива, сознательного служения вневличным целям и растворения своей индивидуальности в них, в пространство опасности и борьбы с врагом, наконец, в военное пространство подвига и агрессии — в досоциальное (деструктивно-социальное) пространство простоты. Это ли не культурное пространство мира детства? «Фундаментальный лексикон» соцреализма реализует идеологию гегемонизма и агрессии, но таков мир не только взрослой, но и детской стаи. Таков мир стаи вообще, но если мир взрослого коллектива имеет более зрелые формы, то мир детства тяготеет прежде всего к стадной коллективности. Стая вообще есть ранняя стадия человеческой организации в пространстве истории, детство человечества. Детская стая — ее эквивалент в пространстве истории одной человеческой жизни. Процесс взросления есть процесс социализации, процесс выхода во взрослую жизнь, процесс выхода из стаи.

Как феномен социальной психологии и соцреалистическая культура, и мир детства — это своеобразная *комната страха*. Это культура *социального беспокойства*. В глубине эпического спокойствия, умиротворения и «созидательности» соцреализма скрыт глубокий комплекс бессознательного страха перед личностной целостностью и свободой. Перед нами результат того, что еще полвека назад Э. Фромм назвал «бегством от свободы». Очевидно, что понять причины такого бегства — это и значит понять природу этой культуры, ибо человек охвачен беспокойством и часто стремится отдать свою свободу, права и целостность надличной власти, тоталитарному режиму, «старшему», «вождю», «вожатому», растворяясь в социуме, превратившись в винтик социального механизма. Таков и ребенок, утверждающий свою свободу и органически подчиненный и руководимый нормами и установлениями, уже готовыми в мире, в который он явился. Природа борьбы здесь одинакова.

Как ребенок, так и взрослый человек в рассматриваемой нами культуре находится если не в одинаковых, то, несомненно, в сопредельных пространствах:

*пространство надзора и контроля*: как для взрослого ребенок должен находиться под постоянным присмотром, так и в нашем случае для тех же целей существуют госбезопасность, цензура, вплоть до контроля за темами и литературными сюжетами;

*пространство террора*: от прямого, открытого — наказание детей (по мудрым советам народных пословиц типа: «Кто боится, что ребенок будет плакать, — сам заплачет», «Наказуй детей в юности, успокоят тебя в старости», «Дай детям полную волю — сам наплачешься» и т. д.) и, соответственно, во «взрослом мире» — лагерь, высылки, репрессии — до психологического террора: как в архитектуре происходит минимализация человека перед огромными сооружениями, так и в литературе — внушение, наставление, воспитательность, морализаторство, поэтика идеологического магизма, обращенные всегда к детям (ср. «Дитячко что тесто: как замесил, так и выросло»), здесь обращены ко взрослым при всегдашней и очевидной избыточности власти;

*пространство насилия*: из перманентной «непримиримой борьбы» с кем-то, усиления сверхполяризации (полюса добра и зла) возникает строгая оценочность, характерная именно для детского сознания с его ригоризмом, непримиримостью, категоричностью, неумением видеть оттенки — так формируется «семантическое» военное поле с образом врага, культом борьбы, войны и силы;

*пространство нормализации*: от единообразия и унификации форм социальной жизни, от детей в галстуках и комсомолок без украшений — до прописки всех граждан по месту проживания (воистину: «мы покоряем пространство и время»), до единого «художественного метода», диктующего, как описывать любовь персонажей, писать музыку, рисовать картины, ставить фильмы...

Соцреализм, как и детский мир, есть культура человеческой слабости. Если тоталитарная культура проистекает из социальной незрелости личности, из неготовности человека быть свободным, разумным, объективным, то миру ребенка эти свойства, проявляющиеся и у взрослых, просто онтологически присущи. Тоталитарный синдром возникает в мире растущей изолированности, из чувства ничтожности и бессилия человека. Отсюда — социоцентризм этой культуры, но психологически это же чувство становится основой детских подавляемых комплексов.

Тоталитарная культура развязывает подавляемые иррациональные влечения, обуревающие человека, она срывает заслоны морали, культивируя влечение к разрушению, агрессивность, зависть, месть, ненависть, почти всегда характерные для детских коллективов. Общество такого типа, подавляя личность, опирается на незрелую массу, в результате чего происходит деклассирование, люмпенизация, возвращение общества в пору варварства, детства. Тогда как традиционная культура, напротив, способствует социализации личности, ее *взрослению*.

Соцреалистическая культура в высшей степени инфантильна. Отмеченная М.Чудаковой «детскость» соцреализма была связана не столько с «неестественной ситуацией не прекращающегося социального давления», в результате чего «живые силы литературы естественным образом устремились в ту сторону, где редукция тем и упрощение языка, возникая перед пишущим в качестве предпосылки, могли быть, во всяком случае, мотивированы жанрово — в сторону литературы собственно *детской*, то есть *детям* адресованной»<sup>7</sup>. Между тем, *детскость* — родовая черта соцреализма. Этим, в частности, объясняется то обстоятельство, что советская классика, адресованная *взрослым* (Островский, Фадеев, Фурманов, Шолохов, Ал. Толстой) неизменно и немедленно «спускалась» на этаж собственно *детской* литературы, уходила в школу: закрепленная в этой литературе парадигма сознания (с классовой ненавистью, культом героя и борьбы, образом врага, тайной заговора, сектантством, жестокостью) полностью соответствует детскому несоциализированному сознанию. В процессе взросления ребенок социализируется, преодолевая агрессивность и жестокость, и роль культуры в этом процессе огромна, но когда культура стремится не преодолеть, но развить асоциальную детскость (а именно к этому направлены внутрикультурные потенции соцреализма), деструктивный характер воздействия такой культуры на личность и массовое сознание трудно переоценить.

Если авангард апеллировал к аутентичному ребенку, то соцреализм — ко взрослому. Здесь действуют принципиально различные «технологии детства». *Идеал соцреализма — взрослый ребенок; его стратегия — консервация детства*, поскольку сознание ребенка легко направляемо и подвержено суевериям и мифам, подчинено силе, каковой выступает суверенное государство, нация, власть. Отсюда — «народность», на которую ориентирована соцреалистическая эстетика; «изображение жизни в формах самой жизни» исходит *прежде всего* из конкретно-образного мышления ребенка. Не случайно любимые соцреализмом сюжетные картины передвижников легче всего найти на наклейках иллюстраций к учебникам по развитию речи для начальных классов школы. И дело здесь не только в социальности передвижников (у любимого соцреализмом Шишкина ее нет), но именно в тотальном реализме, которого требует инфантильное сознание.

Этот инфантилизм культуры любопытным образом проявился в речи: в собственно детской литературе соцреализм начинает говорить на «сверхдетском» языке — все эти «сынишки», «сестренки», «братишки», «зайчишки», «шалунишки» и т. п. невозможны в нормальной детской речи. Этот специальный детский язык соцреализма освобождал целые лексические пласты, которые перешли во «взрослую» литературу. Грань между ними становится все более зыбкой, если не сказать — условной.

Как и мир детства, соцреалистическая культура *семейна*. В процессе десоциализации происходит обратная замена социальных связей связями семейными. Оба мира опираются на патриархальное сознание, которое строится на надличных категориях семейственности: «Родина-мать», «Отец народов», «республики-сестры», «народы-братья», «старший брат» и т.д.<sup>8</sup> Но эта семейственность, внедряемая и культивируемая властью, призвана была скрыть то, что находилось в сфере бессознательного, компенсировать естественную потребность человека в связи с окружающим миром и в стремлении избежать одиночества в «большой семье» и «большой родне». Такова же и проблематика детских неврозов.

В глубинном смысле соцреалистическая культура, как и мир ребенка, есть культура *социального одиночества*, вытесняемого тоталитарной доктриной и детским коллективизмом через утверждение «братства», «семейности», «коллективности» и через жесткое подавление «индивидуализма» частного человека. Отсюда — культ активности («активная жизненная позиция») и труда. При этом активность и труд являют собой лишь рационализацию человеческого одиночества и сомнения, по-

пытку их преодоления. В этом случае активизм имеет свое оправдание: индивид должен быть деятелен, чтобы побороть сомнения и чувство бессилия. Такое подчинение человека основано на осознании им своей малости, бессилия и страха и ведет к подчинению его надличной заданности. По существу, здесь перед нами предпосылки включения ребенка в детский коллектив.

Коммунизм — это всегда детство. Детство — это всегда коммунизм. Не потому ли во второй редакции Программы партии была поставлена задача «превращения школы... в орудие коммунистического перерождения общества»? Можно сказать, что рассматриваемая нами культура — это культура социальной адаптации, это культура приспособления личности к системе ценой потери индивидуальности и целостности. Будучи культурой рационализации страха и бегства, эта культура имеет в центре тот же авторитарный тип личности, что и детский коллектив (переменными здесь являются лишь его носители — родители, вожатый, вожак, вождь, лидер). Этот тип личности — всегда продукт и рецидив детской неполноценности.

Здесь стоит вспомнить наставления А. Макаренко родителям: «В правильном семейном коллективе, где родительский авторитет не подменяется никаким суррогатом, не чувствуется надобности в безнравственных и некрасивых приемах дисциплинирования. И в такой семье всегда есть полный порядок и необходимое подчинение и послушание. Не самодурство, не гнев, не крик, не мольба, не упрямство, а спокойное, серьезное и деловое распоряжение — вот что должно внешним образом выражать технику семейной дисциплины. Ни у вас, ни у детей не должно возникать сомнения в том, что вы имеете право на такое распоряжение, как один из старших, уполномоченных членов коллектива. Каждый родитель должен научиться отдавать распоряжение, должен уметь не уклоняться от него, не прятаться от него ни за спиной родительской лени, ни из побуждений семейного пацифизма. И тогда распоряжение делается обычной, приятной и традиционной формой, и тогда вы научитесь придавать ему самые неуловимые оттенки тона, начиная от тона директивы и переходя к тонам совета, указания, иронии, сарказма, просьбы и намека. А если вы еще научитесь различать действительные и фиктивные потребности детей, то вы сами не заметите, как ваше родительское распоряжение делается самой милой и приятной формой дружбы между вами и ребенком»<sup>9</sup>. Приведенная здесь инструкция универсальна — при замене адресатов — и для «малой» и для «большой» семьи. Можно также сказать, что эта инструкция содержит в себе и эстетическую программу: в ней как будто зафиксированы соцреалистические жанры, выражающие тот или иной тип «распоряжения» — в диапазоне от «директивы» до «намёка». В обоих рассматриваемых мирах заложен и глубинный архетип милитарного сознания и чистой агрессии: социально-психологическая инфраструктура тоталитарного общества и детского коллектива здесь сливаются.

Авторитарная личность всегда инфантильна. Это типичный «бунтарь» и «тираноборец», подобно ребенку, он постоянно бунтует против любой власти, даже против той, которая действует в его интересах и совершенно не применяет репрессивных мер, но борьба авторитарной личности с властью, как и борьба ребенка, полностью зависимо от внешней власти — института семьи, школы, — является, по сути, бравадой. Это попытка утвердить себя, преодолеть чувство собственного бессилия, при этом бессознательная мечта подчиниться сохраняется<sup>10</sup>. В этом смысле соцреалистическую культуру можно рассматривать, с одной стороны, как вербализацию (в ее «фундаментальном лексиконе») авторитарного инфантильного сознания, а с другой, как инструмент конформизации иных типов личности, втягивания, включения их в процесс «новой жизни», их адаптации к системе социальных ролей.

Соцреализм вырастает из культуры революционной. Но чтобы понять механизм, здесь заложенный, стоит обратиться к незавершенной рукописи Ленина «О смещении политики с педагогики», написанной им в июне 1905 года. Вождь

большевиков говорил о том, что «в политической деятельности социал-демократической партии всегда есть и будет известный элемент педагогики: надо воспитывать весь класс наемных рабочих к роли борцов за освобождение... Социал-демократ, который забыл бы об этой деятельности, перестал бы быть социал-демократом». С другой стороны, «кто вздумал бы из этой “педагогики” сделать особый лозунг, противопоставлять ее политике..., апеллировать к массе во имя этого лозунга против “политиков” социал-демократии, тот сразу и неизбежно опустился бы до демагогии». Ленин сравнивал социал-демократическую партию с «большой школой, низшей, средней и высшей в одно и то же время»<sup>11</sup>. В его сознании педагогика и политика тесно взаимосвязаны. Причем, педагогика здесь — начальная школа (азбука), а политика — высшая. Вырастающая из такой политизированной педагогики культура образовала новое политико-педагогическое пространство — педагогизированную политику, так же как и педагогическую эстетику. Видимо, поэтому в этой культуре уничтожается детская психология как предмет, реально обращенный к ребенку.

4 июля 1936 года специальным постановлением ЦК ВКП(б) «О педологических извращениях в системе наркомпросов» педология была «разоблачена и осуждена» как «антимарксистская, реакционная, буржуазная лженаука о детях», ставящая себе задачу «в целях сохранения господства эксплуататорских классов доказать особую одаренность и особые права на существование эксплуататорских классов и “высших рас”, и, с другой стороны — физическую и духовную обреченность трудящихся классов и “низших рас”... Антимарксистские утверждения педологов полностью совпали с невежественной антиленинской “теорией отмирания школы”, которая также игнорировала педагога и выдвигала решающим фактором обучения и воспитания влияние среды и наследственности. Советская педагогика, основываясь на марксистско-ленинском учении, не отрицает влияния среды на развитие ребенка, но и не считает ее единственным и решающим фактором воспитания. Решающее место в воспитании детей принадлежит педагогу и школе в целом». Постановление «разоблачило и ликвидировало педологию. Оно требует окончательного устранения всех остатков педологических извращений как обязательного условия для полного восстановления в правах педагогики и педагогов и всемерного улучшения качества работы школы»<sup>12</sup>. Как можно видеть, смысл постановления, сыгравшего решающую роль в отношениях тоталитарной культуры с миром детства, сводился к тому, чтобы утвердить власть и контроль над ребенком в виде «педагога и школы в целом».

Не только школу, разумеется, но и всю соцреалистическую культуру, бывшую макрошколой, можно назвать лабораторией психогенной инженерии (в соответствии с этим писатель здесь — «инженер человеческих душ»), внедряющей в массовое сознание голос и интенции власти. Этот процесс внедрения не освобождает, тем не менее, человека от беспокойства, и неосознанное чувство неуверенности и бессилия лишь возрастает. Для снятия этого напряжения человек нуждается в ощущении полноты жизни, но вписанный в систему социальных ролей, он довольствуется лишь внешней событийностью, которую дает ему соцреалистическая культура, подобно тому как ребенок погружается в мир увлекательных путешествий и приключений вымышленных персонажей.

Соцреалистическая культура может рассматриваться как массовая культура. И здесь мы вновь возвращаемся к ее инфантилизму. Герой соцреалистической культуры одинаково любим и детьми, и взрослыми (как Чапаев в 1930-е годы или герои латино-американо-индийских мелодрам), что следует рассматривать не как свидетельство взрослости детей, но — детскости взрослых. У ребенка избавление от страха происходит через приобщение к страшному, через сказку и ее преодоление, агрессивность снимается в массовой культуре через фильмы ужасов, а сексуальная агрессивность — через порнопродукцию. В соцреализме, напротив, происходит не

преодоление негативных потенциалов человека, но их прямое «снятие» через запрет. В результате агрессивность и страх рационализируются и продуцируются в иных, социально деструктивных формах. В этом активизме подавляется широкий спектр спонтанных эмоций. Соцреализм замещает их, уплощая, огрубляя, обедняя — в сентиментальности (стихи о любви и верности, равно близкие и «зрелой колхознице», и девочке-подростку) или «комедийности» (на уровне юмора деда Шукаря из «Поднятой целины» или комедий А. Софронова и А. Корнейчука).

Но все это лишь поверхностное замещение: в глубине подавляется главное — чувство трагедии. «Каждая культура справляется с проблемой смерти по-своему, — писал Э. Фромм. — В тех обществах, где процесс индивидуализации зашел не очень далеко, конец индивидуального существования представляется меньшей проблемой, поскольку меньше развито самоощущение индивидуального существования. Смерть еще не воспринимается как нечто радикально отличное от жизни. В культурах с более высоким уровнем индивидуализации относились к смерти в соответствии с их общественным строем и социальной психологией»<sup>13</sup>. Очевидно, однако, что тоталитарная культура относится к тому типу культурных формаций, где процесс индивидуализации повернут вспять — цена жизни сведена к минимуму («лес рубят — щепки летят»), но смерти в этой культуре попросту нет, ибо бессмертно дело, в котором растворен человек, бессмертна та вневечная ценность, которой человек служит. Отсюда — культ молодости, бессмертного подвига и телеологизм («чтобы не было мучительно больно, за *бесцельно* прожитые годы»). Отсутствие самоценности жизни ведет к отрицанию значения смерти.

Все тоталитаризмы XX века опираются на идею прогресса, видя в себе завершение, итог, цель исторического развития. И в сталинской, и в гитлеровской политических моделях такой программой завершения истории стала социалистическая идея. Массовое сознание при этом трансформируется таким образом, что воспринимает социализм как следующий за капитализмом этап человеческой истории. Между тем, «реальный социализм в отдельно взятых странах» есть реакция первобытно-общинных, патриархальных и феодальных форм сознания на индивидуализацию и персонализм. «Самая передовая» общественная и культурная модель оказывается, таким образом, глубоко регрессивной. Вот почему истоки ее следует искать в «детстве и отрочестве» человечества. В конечном счете мы вновь возвращаемся к таким формам превращения массового сознания, когда, говоря словами Э. Тейлора, «ум дикаря воспроизводит состояние детского ума... Такое умственное состояние можно проследить на всем протяжении истории не только в виде импульсивной привычки, но и в формально установленных законах»<sup>14</sup>. Эти «формально установленные законы» настолько архетипированы, что при определенных обстоятельствах актуализируются, закрепляются в законах социальной организации. Начинается необратимый процесс инфантилизации общества — результат ослабления личности.

Эту новую культурную ситуацию увидел уже в самом начале 20-х годов О. Мандельштам, когда писал, что «мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, акции личности в истории падают» и констатировал «бессилие психологических мотивов перед реальными силами». В результате люди оказываются «выброшенными из своих биографий, как шары из бильярдных луз»<sup>15</sup>.

Именно «человек без биографии», человек вне истории (а биография — это и есть история) и подхватывается тоталитарной культурой. Человек, лишенный чувства общности и кровной связи с историей, становится легкой добычей внешних сил, и сам внутренне перестраивается, включаясь в систему социальных ролей. Для этого он должен вернуться в детство, в семейно-родовую культуру и в связанный с ней тип религиозного сознания: «Если человек не освобождается от кровной привязанности к матери, клану, народу, если он сохраняет детскую зависимость от



карающего и вознаграждающего отца или какого-либо иного авторитета, он не может развить в себе более зрелую любовь к Богу; следовательно, его религия является такой, какой она была на ранней стадии развития, когда Бог воспринимался как опекающая всех мать или карающий-вознаграждающий отец»<sup>16</sup>.

С другой стороны, возникают психологические предпосылки для социального титанизма и революционного активизма: «Способность думать объективно разумна. Эмоциональная установка, основанная на разуме, — это смирение. Быть объективным; пользоваться собственным разумом возможно только при достижении установки на смирение, при избавлении от мечтаний о всезнании и всемогуществе, которые свойственны детству»<sup>17</sup>. Но соцреалистическая культура возвращает именно к «мечтаниям о всезнании и всемогуществе», культивируя детский утопический романтизм и используя для этого весь «арсенал» социальной мифологии и ритуализации реальности, а взамен цельности и единства с миром создает некий суррогат общности, реализуемый в так называемых «массовых действиях» парадов, демонстраций, гуляний и т.д. По сути, такого рода действия являют собой законченные виды введения массы в так называемые «оргастические состояния», в которых человек окончательно теряет всякую индивидуальность; в этих ритуалах для человека исчезает внешний мир, а вместе с ним и чувство отдаленности от него. Во время подобных действий усиливается чувство групповой сопричастности и квазиединства, но поскольку эти оргастические состояния и экзальтация лишь на время освобождают человека от одиночества, они протекают в тоталитарной культуре перманентно. Человек не остается здесь наедине со своими вопросами (ребенок всегда должен быть под присмотром!), но все время вовлечен его в «массовые мероприятия» — от октябрятских звездочек и пионерских линеек до строевых занятий и сборов у костра, от политкружков и политзанятий до различных собраний и массовых действий — декады искусства тех или иных народов в Москве, физкультурные и авиационные парады, массовые заплывы, демонстрации, народные гуляния, которые соответствовали по многим параметрам и целям нюрнбергским партайтагам или Берлинской олимпиаде 1936 года.

Тоталитарная культура в ее превращенной «ранней» религиозности есть культура отцовская, где основная добродетель — послушание. Это действительный мир детства. Здесь, соответственно, актуализируется самое культовое сознание во всей парадигме: инициация (в детском социуме — октябрята, пионеры, клятвы и др атрибуты), культ тайных союзов, культ вождей, культ племенных богов, матриархально-родовой культ святынь и покровителей, патриархальный семейно-родовой культ предков. Стоящая же в центре обоих миров власть персонифицируется в образе вождя. В «Колыбельной» Джамбула мать поет ребенку: «О тебе отца ревнивей Сталин думает в Кремле». Эти слова даже не двусмысленны: отец у мира взрослых и детей — один: власть и вождь. Вождь как духовный отец куда значительнее собственного отца («отца ревнивей»), родной же отец — либо на заводе, либо на войне.

Разумеется, перевод текстов из системы аутического сознания в систему понятнейшую требует специальной работы по его реконструкции и дешифровке, но уже сейчас ясно, что ценностная модель соцреализма восходит к эстетике массовой культуры, далее к лубку, и еще глубже — к народным представлениям о счастье, в мир сказки, и, наконец, в мир детства и варварства, в догуманистический инфантилизм человечества. Стоит лишь заметить, что отношения между рассмотренными двумя мирами — соцреалистическим и детским — можно обозначить классической формулой: угол падения равен углу отражения: именно в силу того, что культура есть процесс накопления и роста, различные рецидивы инфантилизма лишь выявляют ту неизбежную логику, согласно которой этот угол стремится к нулю.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- 1 *Б. Гройс*. Соцреализм — авангард по-сталински // Декоративное искусство СССР. 1990. № 5. С. 35.
- 2 *Э. Надточий*. Друк, товарищ и Барт // Даугава. 1989. № 8. С. 115.
- 3 *Н. Крупская*. О коммунистическом воспитании молодежи. М., 1948. С. 312.
- 4 Там же. С. 243.
- 5 *С. Зимовец*. Дистанция как мера языка искусства // Даугава. 1989. № 8. С. 248.
- 6 См.: *Hans Günther*. Der Sozialistische Übermensch. Stuttgart, 1993.
- 7 *М. Чудакова*. Сквозь звезды к терниям (Смена литературных циклов) // Новый мир. 1990. № 4. С. 248.
- 8 См.: *К. Кларк*. Сталинский миф о «великой семье» // Вопросы литературы. 1992. № 1.
- 9 *А. С. Макаренко*. Книга для родителей // А. С. Макаренко. Собр. соч. в 7 т. Т. 4. М., 1957. С. 217.
- 10 *Э. Фромм*. Бегство от свободы. М., 1990. С. 146.
- 11 *В. И. Ленин*. Полн. собр. соч. Изд. 5-е. Т. 10. С. 357—359.
- 12 См.: Против педологических извращений: Сб. статей. М.; Л., 1937.
- 13 *Э. Фромм*. Указ. соч. С. 205.
- 14 *Э. Тэйлор*. Первобытная культура. М., 1989. С. 130.
- 15 *О. Мандельштам*. Конец романа // О. Мандельштам. Соч. в 2-х т. Т. 2. С. 203—204.
- 16 *Э. Фромм*. Искусство любить. М., 1990. С. 99.
- 17 Там же. С. 140.